

Анатолий Кругляков

СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ „ЮЖНАЯ“

РАССКАЗ

1

Завалило штрек. В общежитии шахты «Южная» раздался телефонный звонок. Комендант одернул поношенный офицерский китель, подошел, прихрамывая, к столу и поднял трубку.

— Миронов слушает. Так... — его лицо передернулось в нервном тике. Он положил трубку, резво проковылял к двери и, распахнув ее, крикнул:

— Проходчики! В шахте авария. Быстро разбирать завал...

Затем вернулся, взял трость и пошел по длинному коридору, стуча ею в двери. Комнаты тот же час открывались, выглядывали заспанные парни, спрашивали у бегущих:

— Чево там?.. Завал?.. Где?.. Так это не у нас...

Комендант подошел к последней комнате, легонько двинул плечом дверь и на пороге столкнулся с Николаем, высоким, худощавым парнем, недавно поступившим на шахту. От Николая пахло винным перегаром. Миронов заглянул в комнату, увидел смятую постель и на столе — пустые бутылки, окурки, хлебные корки, обгрызанные луковичы, вспоротые консервные банки.

— Пил, значит...

— За свои... — выдохнул Николай. — Чего тебе?..

— Ладно, — комендант посторонился. — Дуй быстро к Григорию Никитичу. Скажешь — завал на втором параллельном. Ребят вызволять надо...

Что-то дрогнуло в лице Николая. Мешки под глазами потемнели. Он потер виски и направился к выходу, оставляя за собой ошметки грязи с давно немых сапог.

Усадьба Григория Никитича стояла на горе. Приземистый дом-пятистенник прятался в корявых березах. Выше дома тянулись постройки. За ними по бугру начинались колхозные поля, а за полями черной бороздой стоял высокий сосновый бор.

Наступала осень. Сирень в садах стояла голая; по утрам вздрагивала, зябла от холода, сырости. Роса мочила черемуху. Камыш на реке Кон-

доме, в которой на днях Николай чуть не утонул по пьянке, состарился, потемнел, низко припал к воде.

Не слышно птиц, только ворона летает по усадьбе. Ближние пашни с полынником начали чернеть. Ночи стояли темные, без звезд. По целым дням лил дождь; тихий, без грома, без молний. В бору падали сосновые шишки. Кружились желтые тополиные листья, засыпая дорожку с колеями и выбоинами, по которой и шел Николай к усадьбе.

Он подошел к высокому крыльцу и подумал: «Крепко живет Краюхин». Постучал...

— Кто? — Послышался глухой, как из подземелья голос Григория Никитича.

— Свои... Николай!

Звякнула задвижка, тягуче проскрипел засов. Дверь приоткрылась. Григорий Никитич в белой рубашке, босой, чуть ли не подперев плечами косяки, уставился на Николая.

— Чево там... — недовольно буркнул он, и на его продолговатом, с массивным подбородком лице заиграли крупные желваки.

— Вот, язви те, — сказал Григорий Никитич, выслушав Николая. — Двигай, а я тя догоню...

Дверь бесшумно закрылась. Николай снова прошел двор — широкий и чистый, и только хлопнул калиткой, как за спиной послышалось: «Обожди». Его догонял Григорий Никитич, одетый в чистую брезентовую робу, из-под которой выглядывало нижнее белье.

— Старуха боится пущать чужих, не обессудь. Кержачка она у меня, — заговорил Григорий Никитич, легонько тронув Николая за локоть. — Мионов послал, говоришь? С ним, паря, мы пуд соли съели. Выпивок больно не любит... Ты тож, гляжу, ничего парень, крепкий. Иди ко мне в напарники. Моего вчера звеньевым поставили...

Николай пожал плечами и даже сплюнул от досады: вот, мол, привязался. Он всю дорогу шел и смотрел себе под ноги, будто боясь оступиться, отчего выглядел сутулым, нахохлившимся. Григорий Никитич замолчал. Так молчком и дошли до бытового комбината, двухэтажного, недавно построенного на месте деревянного, простоявшего без малого тридцать лет. Они поднялись на второй этаж, вошли в длинное, узкое помещение, называемое «грязной раздевалкой». В нос ударило прелым, на зубах хрустнула угольная пыль, которая тучей висела в воздухе, лежала на подоконниках, на кафельном полу и скамейках, поставленных вдоль стен.

На скамейках сидели полураздетые и голые шахтеры, черные, с разрисованными углем спинами. Они старательно трясли куртки, брюки, портянки. Вязали все в узлы, совали их в окна напротив чумазым гардеробщицам и, получив бирки, спешили в мойку.

Григорий Никитич и Николай прошли «грязную раздевалку» и оказались в чистой половине.

— Давай, шевелись, — проговорил Григорий Никитич, глядя из-под мохнатых бровей на суетившегося Николая. — Переодевайся и двигай к стволу. Я принесу туда твой аккумулятор...

...Клеть опустила их на третий горизонт. Здесь, в околоствольном

дворе, было светло, как в метро. Они оседлали маленький горбатенький электровозик, который быстро помчал их по подземным коридорам.

Вот и завал. Здесь уже вся бригада. По ту сторону завала люди.

— Шевелись, шевелись, братва, — отваливая куски угля, выкрикивает Григорий Никитич. — Кати вагонетки под мелкоту... а язви те, живо, живо...

Уголь сыпал и сыпал. Нагрузили вагонеток двадцать, да что толку! Завал каким был, таким и остался. Время идет. По ту сторону газа метана уже выше нормы стало.

— Рельсов бы сюда побольше и бревна в полтора обхвата, — хрипло говорит Григорий Никитич главному инженеру, который тут же схватил трубку и стал истошно кричать в нее.

Привезли рельсы и бревна, окованные железом. Выбрали потолок и подвесили за верхняк цепью.

— Р-раз, еще р-раз, — командует Григорий Никитич, с силой ударяя бревном-тараном по рельсу, который медленно идет под самую кровлю. За первым забивают второй, третий — сплошняком. Перекрыли кумпол, а уж завал после этого было разобрать и закрепить — плевое дело.

В небольшое отверстие, пробитое в завале, проходчики сунули резиновую вентиляционную трубу, что вздутым калачом висела на скобах под кровлей. Свежий воздух устремился в завал, выгоняя метан, угольную пыль. Из дыры показался первый проходчик. Его подхватили, выволокли. Здоров, смеется, ни царапинки. Вылез еще один и еще...

Николай стоял в сторонке и равнодушно смотрел, как радуются шахтеры. Ему стало казаться, что весь этот шум так себе — забава. Ну посидели часок — другой в завале, вот страху-то! Будто им впервой попадать туда... Он даже отвернулся и сплюнул по обыкновению, когда четвертый проходчик, маленький и щупленький, обхватил рослого Григория Никитича чуть выше поясицы и все подпрыгивал, пытаясь поцеловать спасителя своего в щеку. Григорий Никитич, слегка отстраняясь, басил: «Да ладно те, ладно...».

Спасенные шахтеры, окруженные шахтовым начальством, пошли к стволу. И тут оставшиеся проходчики повернулись к Николаю. Одни смотрели на него с нескрываемым любопытством, другие — зло и отчужденно. От этих взглядов ему почему-то стало не по себе. Непонятная, щемящая тоска овладела им, и он почувствовал себя жалким и одиноким...

Проходчики гурьбой двинулись по штреку, пронизывая тьму яркими аварийными светильниками.

2

Где Николай родился, где рос, что видел? Одни лысые горы, да куршники в лощинах. Заводские трубы, день и ночь выбрасывающие пепел и сажу. Это не юг, не степь, где пасутся стада, где по часу едешь по селу, удивляясь белизне изб, их чистоте, цветущим фруктовым садам.

И вот растет он, познавая мир и жизнь в этом строящемся городе с

огромным заводом, в этом крае, где зимой стоят морозы лютые, а лето бывает жаркое и знойное.

Помнит Николай, как солнце пекло нещадно траву, воздух тяжелел, облака сходились все медленнее и теснее и, наконец, стали подергиваться острым блеском молний. Где-то в высоте прогремело, потом загремело... и мать прикрывала его чем-то тяжелым и теплым — и это теплое и тяжелое сползало с него, когда телегу забрасывало на ухабах.

Разве можно забыть это первое путешествие! Ехали они целую вечность. Полям, лощинкам, проселкам и перекресткам не было конца. И вот река — деревянный мост, за мостом — деревня. Из первого дома выбегает дяденька, машет руками, бежит к телеге и вот уже подхватывает Николая на руки, щекочет усами, несет его в дом...

Эта поездка, впервые раскрывшая ему радости земного бытия дала еще одно глубокое впечатление. Он испытал его на обратном пути. Перед ним опять открылся вдаль знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. То он видит себя в доме с причудливыми наличниками, как он поднимается по утрам, ходит по пустым комнатам. То он за усадьбой, в поле. День как будто все тот же — только тут жарче. Вокруг него поля, поля, березовые колки... То после завтрака мчится он на кошке, прижимаясь к отцу, который беспрестанно щекочет его усами, и он смеется радостно и весело...

Дальнейшие воспоминания Николая о своем детстве обыденны и точны. Он помнит тот день, когда пришла почтальонша тетя Фрося и как они вдвоем с матерью плакали и обнимали его маленького. И уже значительно позже он узнал, что они о его погибшем на фронте отце плакали, и понял тогда, как это тягостно и больно каждый раз думать и говорить: «Мой отец погиб на фронте»...

— Ты помнишь, Коля, отца-то? Как ездили к нему в деревню, что в Новосибирской области, — говорила мать, всхлипывая, — Как щекотал тебя усищами, а как на руках носил? — смеялась и плакала она... — Уж как я говорила ему: не соглашайся председателем. Здесь-то на заводе, когда началась война, многие броню получили. Не послушал ведь.

Эх, мама, мама... Плакалась, убивалась... И так ведь не легко тебе было: уходила чуть свет на завод и приходила поздно вечером. Иногда оставалась на ночь, и тогда он шел спать к тете Фросе, что жила в соседнем подъезде. А утром Николай съедал кусок хлеба с картошкой и бежал на рынок, где проводил долгие летние дни...

Рынок был рядом с домом. Огромный, со множеством магазинов, навесов, толкучкой, где продавали всякую дребедень, он как магнит тянул к себе пацанов.

Николай подолгу глазел на галдежные очереди. Любил бродить по колхозному ряду, любовался сытыми лошадьми, потихоньку от возницы брал из стойла пригоршни овса и набивал карманы до тех пор, пока мордастая баба с возу, хлопнув себя по толстым ляжкам, не гнала его прочь: «Брысь отсюда, пострел!»... Тогда он шел к доброму дяде Кузе, который торговал медом.

Здесь всегда дежурила стайка ребят. Обступив воз с бочкой, они пальцами снимали с нее тонкие ручейки, а наиболее смелые и предпри-

имчивые, к каким и принадлежал Николай, лизали бочку языком, отчего она к вечеру становилась будто полированной.

Когда дяди Кузи не было, Николай шел на толкучку. Больше никогда в жизни он не видел таких толкучек, и, дай-то бог, чтобы это никогда не повторялось.

Здесь каждый был занят своим.

— Кому тошнотиков, кому тошнотиков, — гнусавила худая тетка, держа перед собой тарелку с картофельными лепешками.

Чинно стояли взрослые ребята и, сплевывая через губу, покрикивали:

— Кому «Дели» надоели — закурите «Беломор». На рубль две, на рубль две...

Привалившись к ларьку и поджав колени к подбородку, пьяный парень хныкал:

— Мы любим спорт, но только папиросы.

Мы любим сорок градусов, но только не морозы...

Продавцы крепкого самосада, семечек, пайков хлеба, самодельных конферт кричали до хрипоты, предлагая свой товар. Стоял шум и гвалт. И вдруг из этого разноголосья вырвался вопль:

— Налетели, расхватили, не беру-ут!

В ответ ухала многосотенная толпа. Мужчины и женщины, молодые и старые, размахивали платьями, брюками, пиджаками и отрезами. Перекидывали с руки на руку нижнее белье фээзушники, и вся эта пестрая толпа походила на разворошенный муравейник.

В жаркие дни и Николаю кое-чего перепадало. Он, по примеру старших, таскал воду в бидонах и ведрах, кричал:

— За двадцатник напиться, за двадцатник напиться... Холодная вода-а.

Так и проходили летние дни далекого военного детства. Вечером, бывало, Николай, до отвала наевшись картошки, которую мать варила в чугуне, привезенном из деревни, ложился спать.

...А потом мать умерла. Это случилось декабрьским морозным утром. Простудилась на работе, пришла домой — тихая, уставшая, легла в постель и больше не поднялась... Николай, уже школьник, шел плача за гробом, уцепившись за тетю Фросю, единственного оставшегося ему близкого человека. И она, одинокая, переносившая не одну сотню похоронных, высохшая и рано поседевшая от горя людского, взяла Николая к себе.

3

Не забыть Николаю тихой и милой Марины. Он до сих пор видит и чувствует эти серые октябрьские вечера в Абашевске, куда случайно занесла его нелегкая, скучные улицы с деревянными тротуарами и с черным городским садом. Опустошенный, внутренне сжавшийся, он искал ее, блуждая почему-то по этим садам и паркам с голыми тополями...

Каждый раз возвращаться домой и видеть растущую гору пустых бутылок было невыносимо. Спаситься от всего этого можно было только с Мариной, но она уехала, не оставив даже записки... Наедине старался он проследить причины их разрыва. Разбирался в самом себе. Да, рез-

кое слово с ее стороны, иногда невниманье, душевная нечуткость — и вот растет обида и с языка срываются злые, хлесткие слова.

Он требовал уступок, покорности. Но относился ли сам с должным вниманием к Марине — чуткой и восприимчивой, мотавшейся с ним по городам и весям в поисках счастья?

Марина убеждала его, уговаривала:

— Не надо пить, Николай. Денег вон не хватает, и мне уж стыдно занимать их у соседей. С этими переездами я осталась в одном платье...

— Бросай детский сад к черту. Или по две смены работай, — кричал подвыпивший Николай. — Ты же знаешь: не везет мне. С мастером все не ладим. Станину три смены шабрил. Мозоли натер — во! И на сколько, ты думаешь, он мне наряд закрыл? Ть-фу! Брак, говорит. Это у меня-то брак...

— Не выпивал бы, так и брака не было, — тихо говорила Марина.

— Заладила... бы да бы. Пью-то самую малость. Мог бы и обойтись вовсе, ну и что? Думаешь, он бы мне наряд хорошо закрыл? Дудки... Станина-то первым сортом пошла: никто не заметил брак. А он... Не любит он меня. Вот Семен Семеныч в этом деле толк имел...

— Твой Семен Семеныч мошенник. Чему хорошему научил тебя?

— Он хоть понимал нас, рабочих, — вспыхивал Николай. — Конечно, перегибал иногда... — И Николай вспоминал своего первого мастера с теплотой в сердце.

Когда это было? Кажется, прошла целая вечность. Он, тогда выпускник ремесленного училища, был направлен в крановую службу железнодорожного цеха металлургического комбината, где когда-то работал его отец начальником смены. Семен Семеныч, высокий, худой очкарик, встретил Николая приветливо. Он хорошо знал его отца, потому как мастерил здесь с незапамятных времен.

Николая определили в группу ремонтников. Работу он выполнял несложную. Помогал шабрить подшипники, клепал ленты, выбивал кувалдой бронзовые втулки — и делал это мастерски, потому что, хотя и вырос на картошке, обладал силой отменной.

— В отца удался, — говорил Семен Семеныч...

Потом была первая зарплата. «Прописывали» его в пельменной. Их, шестерых, обслуживал сам заведующий, хорошо знавший Семена Семеныча. Пили водку, пиво. Николай, чтоб казаться взрослым и самостоятельным, пил наравне со всеми, и Семен Семеныч, захмелев, хлопал его по плечу, говорил:

— Ты, Николай, настоящий парень. Держись за старого мастера — не пропадешь...

За ужин расплатился Николай: «прописывали»-то его. Остальные, прощаясь, незаметно совали Семену Семенычу деньги.

— С тебя будя, — поймал руку Николая мастер и засеменил к трамвайной остановке...

Раз в месяц, после получки, собирались они в пельменной. Пили, рассказывали смешные истории и всегда, прощаясь, совали Семену Семенычу деньги.

...А потом он был свидетелем. Осудили все-таки мастера и его товарищей за приписки и взятки.

— Николай не виноват. Молодой он, — сказал на суде Семен Семеныч, и, когда его уводили конвоиры, тетя Фрося крикнула:

— Ирод проклятый. Чуть не загубил парнишку...

Пришел новый мастер, и стал Николай зарабатывать совсем мало. Вроде работает старательно, а придет получать зарплату — кот заплакал.

...В Абашевске они устроились неплохо. Получили квартиру. И в мастерской его, слесаря-ремонтника, оценили. И Марину работа в детском садике на полторы ставки вполне устраивала. А он... вновь начал выпивать, и с того начались неприятности на работе, и опять Николая потянуло в другой город, где лучше, где больше платят, и Марина больше не решилась ехать с ним...

Городок без нее казался пустым. Николай ходил иногда на дамбу, защищавшую жителей от весенних и летних разливов Томи. Здесь они с Мариной отдыхали, загорали и купались до ряби в глазах. Потом они стали ходить сюда все реже, и вот он ходит один...

Написать бы старенькой тете Фросе, и она, возможно, нашла бы способ помирить их, вернуть ему Марину. Но не писал, злился и пил... И когда понял, что прошлого не вернуть, что счастье, которое он искал, ушло от него навсегда, он собрал чемодан и уехал на шахту «Южная».

Работал Николай хорошо, не ленился. Многие позавидовали и удивились, когда Григорий Никитич взял Николая в напарники. Только сам-то Николай не придал этому никакого значения.

4

Отпалили забой. Николай, присев на затылку, прислонился к борту штрека. Вялым движением руки поправил сбившуюся с головы каску, и сразу же луч фонаря осветил погрузочную машину, вагонетку. Со стоек, приятно пахнувших древесной смолой, поднялась мелкая мошкара и назойливо закружилась перед глазами.

Рядом присел Григорий Никитич. Неспешно достал завтрак, завернутый в газету, и, придвинув его Николаю, пробасил:

— Закуси малость, а то к концу смены ноги волочь перестанешь. Нам еще ей-ей сколько надо сделать.

Николай махнул рукой, закрыл глаза и представил себе, как Григорий Никитич жует хлеб с колбасой, запивает из фляжки газировкой. Сколько раз Николай пытался есть в шахте — не мог. Когда устанешь, как черт, о еде не думается... Он устраивался поудобнее и в мечтах уходил в свой мир, куда постороннему вход был закрыт наглухо.

...Григорий Никитич привык есть в шахте еще со времен Отечественной войны. Частенько тогда по две смены вкалывал. На фронт Григорий Никитич не попал. Чего греха таить, жена была рада, что его не взяли. Она тогда второго сына родила, а первый только под стол пешком ходил. Кто знает, вернулся бы ее мужик домой живым и здоровым или нет...

Работать Григорию Никитичу приходилось много. Но зарабатывал хорошо. В доме всегда был достаток, а потому и покой. Хозяйство держал не малое — скотину и птицу разную, картошки по осени накапывал ведер по восемьсот. Если оставалась картошка — вез на базар, ведро которой по тогдашним ценам стоило ровно четыреста рублей.

Чего-чего, а работать Григорий Никитич умел. Силушкой его природа не обидела. Бывало, вагонетку порожнюю, чтобы не гнать ее до разминки, с одного пути на другой перетаскивал. Любил он один в забое работать. И забурит, и отпалит, отгрузит и крепь поставит. По две-три нормы давал. С годами силенок поубавилось. Стал он с напарником ходить, но кого попало не брал, выбирал работающих. Попасть к нему считалось большой удачей: и работать научит и в ведомости не было стыдно расписываться.

Нынче Григорий Никитич с Николаем трудится. Понравился ему парень. Не ленится и силенка есть. На младшего его сына чем-то смахивает. Широкий в кости, высок и строен. Но на этом, правда, сходство кончается. Сын у него характера мягкого и покладистого. Рос тихим и послушным. Учился хорошо, с медалью школу кончил и выбрал себе профессию мирную — учителем литературы после института работает.

Старший сын — совсем другого склада. Среднего росточка, худощавенький, с лицом, как у матери, белым и красивым. Его всегда считали младшим... Учился он хорошо, но особой тяги к наукам не проявлял. После школы уехал в танковое училище, поступил, окончил и вот теперь служит... Нет-нет, да и защежит сердце у Григория Никитича: двух сыновей вырастил, а ни один не живет с ним, никому не сумел, видать, привить любовь к своей профессии.

Не потому ли Григорий Никитич стал напарников брать. Дело к пенсии идет, опыта он накопил за двадцать пять лет работы в забоях немало, опыт этот подчас на него самого давит тяжело... И стал он учить молодых шахтеров нелегкому проходческому делу. Нет на шахте бригадира, который бы не стажировался у него.

...Григорий Никитич жует, искоса поглядывает на Николая. За последнее время парень заметно осунулся. На усталом его лице резко обозначились скулы... Опять ночь прошармачил. Григорий Никитич как-то сказал ему, чтобы перестал пить: водка до добра не доведет...

— Не твое дело, не суйся, — ответил Николай с такой злостью, что Григорий Никитич поперхнулся.

...Николай открывает глаза. Видит тень на борту штрека, сгорбившуюся фигуру Григория Никитича. Тень шевельнулась, запрокинула голову. Забулькало. Николай лизнул сухие губы. Хотелось пить... Сколько раз он пытался экономить воду, прятал фляжку подальше от глаз, не помогало. Отбрасывал лопату, подходил к укромному месту, доставал фляжку и, как бывало поллитровку, выпивал всю до дна.

— Невмоготу, Николай? — спросит только Григорий Никитич и беспокойно пошарит глазами: не валяется ли и его фляжка порожней.

Григорий Никитич оторвался, наконец, от фляжки, потрянул ее, протянул Николаю.

— Накось, допей...

Николай взял фляжку, повертел в руке. Легкая, алюминиевая. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. А уж как бережет ее Никитич. Спрячет так, что сам еле отыщет. Пропустит Николая вперед, вроде штанину в сапог заправить хочет, подождет, пока тот не уйдет подальше, и сунет фляжку под верхняк... Нет, не любил Николай Григория Никитича за его жадность, ворчливость и наставительный тон. Он считал его не-люди-мым, собственником — мироедом, о которых читался в детстве. Однако Николай уважал Григория Никитича за силу и хватку, за умение «делать» деньги...

Николай швырнул фляжку.

— Пропади все пропадом, — голос у него был грубый, отрывистый. — Не по доброй воле сюда забрался. Что ты, Никитич, находишь в этой работе? Ведь свету белого не видишь. Здоровьишко гроишь... Далась тебе эта шахта. И чего тебе, денег мало? Сыновья-то твои не в тебя пошли. Не дураки, чтобы в шахту спускаться.

— Не шуток, паря. О здоровьишке моем не печись, еще крепкое, дай бог тебе тако. И сыновей не трожь — не тебе, шармачу, чета. Вижу, не-возмо-готу стало, ну и проваливай, — сказал Григорий Никитич, что то-пором отрубил.

— Не о том я, — морщится Николай. — Где оно, счастье, под каким камнем захоронено? Ну, отработал ты смену. Пришел домой: сад, огород, скотина... Возишься ты в земле да в навозе, как дождевой червь. Был ли ты в других городах, купался ли в море? Там, Никитич, люди умеют жить. А ты что здесь прозябаешь с тыщами? Деньги, поди, в чулок прячешь, людей сторонись. Старуха боится пущать чужих. Ха-ха, отмочил... Ну-ка скажи, Никитич, сколько тыщ у тебя там в чулке. Мне бы такие деньги...

— Накось, выкуси, — Григорий Никитич показал кукиш. — Давно я к тебе приглядываюсь. Накипело. Не перебивай. С год у нас работаешь, по двести-триста получаешь, а что справил себе? Такой парень видный, а ходишь, как обормот, пьянчужка...

— Да, пью, — перед глазами Николая так и маячил кулак с кукишем. — Не понял ты меня или не хочешь? Ну да ладно. Мои руки тебе нужны. У меня разряд четвертый, а у тебя седьмой. Упираюсь, как вол, а зарабатываю в полтора раза меньше. На таких, как я, всю жизнь и проездил. Домище отгрохал, глухим забором от мира отгородился. А у меня отец на фронте погиб, может, от этого все мои несчастья пошли...

Николай рванул ворот рубашки. Григорий Никитич поднялся:

— Язык бы тебе вырвать за такие слова. Телом-то ты здоров, душок у тя... Мытаришься по свету, а чё нашел? Руки у тя что надоть, а вот башка с придурью. Не той, паря, лопатой счастье добываешь. Миронов сказывал: отец у тя погиб на фронте, мать померла, в людях жил и ласки не знал. Потому и жалею тя, в напарники вот взял.

Григорий Никитич подобрал фляжку. Посмотрел на Николая с укором.

— Не сработаемся мы с тобой, потому как счастье по-разному понимаем.

— Почему не сработаемся, — сказал Николай спокойно. — Решил я

на шахте остаться, сейчас и решил. Здесь мне нравится, и девчата хорошие на поселке есть...

Григорий Никитич пожал плечами и пошел к погрузочной машине. Он включил двигатель. Николай встал у борта штрека и привычно подхватил кабель. Вагонетка была быстро нагружена. Григорий Никитич толкнул ее конвейером машины, а подбежавший Николай покати из забоя.

Это была первая вагонетка. Григорий Никитич так умел палить, что в забое всегда было много породы. Вагонеток двенадцать, а не по семь-восемь, как у других. Зато Николай, работая с ним, так уставал, что придя в общежитие, сразу валился на кровать, проклиная судьбу, шахту, скупердяя Никитича.

...Выкатывая последнюю вагонетку, Николай запнулся о породину, что вывалилась из кузова. «Все ему мало, — подумал Николай. — Нагрузил больше некуда...» Он быстро поднялся, упиравшись руками в задний борт, боясь, чтобы вагонетка не пошла назад, под уклон, и не придавила бы его. Он почуствовал, как дрожат его руки, колени, а тело покрылось липким холодным потом.

— Отдохнем, Никитич...

— Устал? Скажи на милость. Проболтали, паря, мы с тобой много... Устал, значит. Водку жрать надо меньше. Водка-то и выходит боком. Деньги, паря, нелегко даются.

Николай с ненавистью посмотрел в сторону Григория Никитича и, задыхаясь от бессильной злобы, навалился на вагонетку, но она не сдвинулась с места.

— Под колесом породина, убери, — крикнул Григорий Никитич. — Я поддержку вагонетку...

Николаю хотелось ответить ему покрепче, чтобы он не перегружал вагонетки, ибо ему всегда приходится запинаться о свалившиеся куски, а потом собирать их, гоняя по штреку порожнюю вагонетку. С трудом сдержался. «Держи, держи. Я таких сегодня с десятков выкатил», — подумал Николай.

— А ну, сдай назад, — скомандовал он. — Еще...

Он выволок из-под днища породину и понес к борту штрека. Не спеша вернулся, крикнул:

— Толкни, Никитич, на меня...

— Не идет, — слышался хриплый голос Григория Никитича.

«Ага, грузи побольше... как оно там, в моей-то шкуре... — внутренне злорадствовал Николай. — Несладко небось...» Потом крикнул:

— Сдай на себя, Никитич. Под днищем, видать, еще породина...

Николай наслаждался беспомощностью Никитича. «Водку жрать надо меньше», — вспомнил он обидное... Вагонетка медленно пятилась. Он легонько выбрасывал мелкую штыбу, покрикивал:

— Так, так, хорошо, Никитич. Ка-кие куски-то здесь валяются...

Вагонетка вдруг пошла быстрее, и тут слышался страшный крик: «А-а-а...» Николай вздрогнул. На миг оцепенел, но затем какая-то сила заставила его стремглав броситься вперед. Между вагонеткой и конвейером машины он увидел старого проходчика. Что есть силы он стал

отталкивать вагонетку, почти расплющивая свое плечо о железный борт, и она отъехала. Григорий Никитич упал. Подложив под заднее колесо затяжку, Николай, сплевывая кровь с прокушенной губы, метнулся к нему.

— Потерпи, Никитич, потерпи...

Он взял его под мышки и потащил в нишу.

— Как же тебя угораздило, — губы Николая подергивались, каска съехала на бок, из-под нее на серое от пыли лицо спадали русые волосы. Николай суетился, то склонялся над ним, то выпрямлялся, хлопая себя по коленкам длинными, жилистыми руками.

— Не мельтеши, — с трудом выговорил Григорий Никитич. — Позвони.

— Я сейчас, сейчас. Как же теперь?.. Ты уж, Никитич...

Но Григорий Никитич, наверное, не слышал, потому и не отвечал. Он лежал тихо, прижав руки к груди. Николай вдруг резко повернулся и побежал, гулко стуча резиновыми сапогами.

Он остановился у клетки, снял трубку с аппарата, висевшего на бетонной стене, прохрипел диспетчеру:

— Краюхина задавило... вагонеткой.

Опустилась клеть. Стволовой открыл дверцы и выпустил группу шахтеров — белолицых, смеющихся. Шла очередная смена. Николай, дождавшись последнего, шагнул в клеть. Он понимал, что должен находиться очола Никитича, но ничего не мог поделать с собой.

«Скорее, скорее», — шептал он. Николай не видел, как в сторону забоя второго параллельного штрека понесся санитарный поезд, не знал, что у бытового комбината стоит «скорая помощь». Им овладело одно желание: бежать на вокзал и уехать отсюда куда глаза глядят.

Клеть вынесла его на поверхность. По подъемному коридору он прошел в ламповую, швырнул аккумулятор в угол: больше не понадобится. В мойке помылся без обычного перекура. Быстро оделся и пошел в общежитие. Он не помнил, как оказался в комнате. Решительно достал из-под кровати обшарпанный чемодан. Присел на край табурета.

И вдруг ему стало не по себе. Он почувствовал, что задыхается. Открыл окно. Пахло сырой прохладой поздней сибирской осени. Тяжело загромыхал состав, и шум его наполнил комнату. «Породина, язви ее, та самая, о которую я споткнулся. Нет, чтобы откинуть, оставил на колее. «Сдай назад, еще, еще», — молотом стучало в висках... — Он ведь знал, что вагонетка может пойти назад, под уклон, и Никитич не сдержит ее... — Ну взял бы отскочил в сторону. Тогда вагонетка удалилась бы в погрузочную машину...»

— Из-за меня, из-за меня... — почти выкрикнул Николай, и голос его заглушило эхо уходящего поезда.

И, может быть, впервые в жизни он подумал о том, что виноват, что трус он и подлец, и удивился, как мог не видеть в себе этого раньше. Он всегда убегал, как только становилось трудно. Ему казалось, что его не понимают, что в его судьбе играют недобрую роль различные обстоятельства. А может, вся его прошлая жизнь была каким-то кошмарным сном? Кто же все-таки виноват в том, что он, в сущности, опустив-

шийся человек, от которого отвернулись все? Винить было теперь некого. Ему стало страшно. Ударом ноги он загнал чемодан на место и упал на кровать, закрыв голову руками.

Отворилась дверь. В комнату вошел комендант. Он подковылял к Николаю.

— Лежишь, значит. Как же это получилось? — Голос его дрожал, и сам он был бледным. — Слышишь, Грибов... Мне звонили сейчас, — он с минуту подумал: сказать или не сказать? — В общем пиши объяснительную, все, как было. Не забудь, слышишь, Грибов, не забудь, говорю, написать, почему оставил пострадавшего в забое...

Миронов, опираясь на трость, заходил по комнате.

— Никитич-то в себя пришел, но плохо ему, плохо... Эх, мать честная, тяжелое наше дело, шахтерское. Я вот тоже до войны в забое работал, с Никитичем начинал. Вместе, братец, в военкомат ходили. Меня-то вот взяли, а его военком пожалел — дети малые, да и уголек кому-то надо было добывать. Всю войну прошел, всякое случалось: в бомбежку землей засыпало — откапывали, не раз с поля боя выносили раненого. Да что там говорить... Эх, Грибов...

...Николай поднял голову, но в комнате Миронова уже не было. И тогда он всем сердцем почувствовал, что в его жизни наступила перемена, и еще не мог понять, что же именно произошло... Достав из тумбочки лист бумаги, шариковую авторучку, сел писать...

А что писать...

Олег Максимов

ГЛУХАРИ

Глухариный ток — свидетель боя,
Подстрекаемый любовью стаи...
Слушай, может быть, и мы с тобою
В этот вечер глухарями стали!
Может, зря людьми-то нас назвали!
Отвечай, молчанием не мучай!
Может быть, нас свел нежданный случай
На смешном нелепом карнавале!
А в двенадцать, когда скинем маски,
Ты меня, а я тебя — забудем.
Может, не любовь приходит к людям,
А людьми придуманная сказка!
Только нет, неправда, этот вечер
Для любви, для нас с тобою создан.
Мне сейчас обнять тебя за плечи —

Так же, как рукой тянуться к звездам:
Слышишь, глухари опять токуют,
Яростно друг друга атакуют...
Будут они драться до победы...
Если б человеческими устами
Я им мог любовь свою поведать,
То они людьми б сегодня стали,
Все делили б — радости и беды,
И навеки драться перестали.
О, как трудно, как с тобой легко мне!
Вот с такой — любимой и невинной...
Если я солгу тебе, напомни
Глухарей и вечер глухариный.

г. Таштагол.